

# КЛЕАРХ И ГЕРАКЛЕЯ



Юлия Латынина

Юлия Латынина  
**Клеарх и Гераклея**

«ЭКСМО»

1994

**Латынина Ю. Л.**

Клеарх и Гераклея / Ю. Л. Латынина — «Эксмо», 1994

Читайте роман Юлии Латыниной в стиле греческих повествований, относящих нас к более чем двум тысячам лет назад, – к литературе древней Греции. Экспериментальный, смелый и оригинальный, – в духе творчества выдающегося писателя, кандидата филологических наук.

© Латынина Ю. Л., 1994

© Эксмо, 1994

## Содержание

Несколько слов вместо напутствия	5
Предисловие	6
Книга 1	11
Книга 2	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Юлия Латынина

## Клеарх и Гераклея

### *Греческий роман*

#### Несколько слов вместо напутствия

Ю. Латынина написала роман в духе греческих повествований, отстоящих от нас более чем на две тысячи лет. Мне думается, что в этом ее опыте сказывается крайний радикализм: начав восстанавливать преемственность, прерванную трагедиями первой половины нашего века, мы обращаемся к давним нашим истокам, разумеется, прежде всего ведущим к Греции. Быть может, я сам склонен был бы к перенесению столь же радикального подхода и на самый стиль повествования, который в этом случае избавился бы от академизма. Но не будем навязывать автору своих вкусовых пристрастий, не будем подсовывать авангардистских бомб под спокойствие ее размеренного тона. У меня есть только одно возражение против интересного авторского предисловия. Традиция «Александрий» в Европе не остановилась так рано, как полагает Ю. Латынина. Последний мне известный пример – неоконченный (и сохранившийся в нескольких незавершенных вариантах) роман моего отца Всеволода Вячеславовича Иванова «Сокровища Александра Македонского», частично напечатанный лишь посмертно. Именно благодаря этому частичному несогласию с авторским предисловием я настроен примирительно по отношению к ее замыслу. Если моему отцу в 40-е годы в набросках его вариантов «Александрии» и в других, тогда не печатавшихся вещах (в частности, в рассказе «Сизиф, сын Эола», перекликающемся с «Сизифом» Камю, тогда же написанным) было позволительно попытаться воссоздать эту давнюю традицию, почему мы не дадим этого права современному молодому автору? Вероятно, стилистическое разнообразие новой русской прозы может быть завоевано и путем расширения ее временных и пространственных пределов. Я знаю Ю. Латынину не только как продуктивного прозаика, ищущего способов сказать новое слово в пределах сверхтрадиционных форм литературы, но и как энергичного исследователя этих традиций европейской культуры. Пожелаем ей и вместе с ней всему ее поколению успеха на трудных путях, где впереди брезжит заря новой русской прозы, которая, как я надеюсь, соединит высокое наследие, через Византию и эллинистический Восток восходящее к античной Греции, с языком и стилем современности.

*Вяч. Вс. Иванов*

## Предисловие

Некогда Искандар Двурогий, завоевавший весь мир, решил, что этого слишком мало: мир иной, за завесой мрака, ему не принадлежал.

Искандар повелел согнать табун из шестисот тысяч молодых кобылиц и отобрать для похода наилучших воинов. Десять дней войско шло по стране непроглядного мрака, воины искали путь, щупая в темноте камни, и совали те камни, что поменьше, себе в карман, – на десятый день вышли в иной мир. Спешившись, воины достали из карманов камни, подобранные по дороге: то были алмазы и рубины. «Те, кто взял мало камней, пожалели об этом, ибо предводители их забрали самоцветы себе, а те, кто собрал их во множестве, испытали огорчения по той же причине».

Меж тем Искандар глядел на войско и на иной мир и вдруг ужаснулся и сказал спутнику: «Вот что пришло мне на ум... Если мы отыщем источник живой воды, ведь не только я, но и все мои воины напьются из него... В чем же будет тогда мое превосходство над ними? Посему я желаю, чтобы ты остался с войском, я же один отправился на поиски живой воды».

Так излагает историю великого македонца одна из многочисленных средневековых «Александрий», малайская «Повесть об Искандаре Двурогом». Мы, конечно, прервемся и не станем рассказывать, как Искандар, осознав, что до рая надо добираться в одиночку, достиг своей цели; как он получил от Аллаха ветку райского винограда; как Иблис, искусивший его на обратном пути, лишил людей вечного блаженства. Известно, что подобная история впервые произошла с Гильгамешем, также лицом вполне историческим.

«Роман об Александре» покорила больше стран, чем сам Александр. Свита македонца состояла из гетайров: в свите героя «Александрий» оказались пахлаваны и рыцари, бояре и верные слуги Аллаха; герой «Александрии» сражался с Гогам и Магогами, проникал за завесу мрака и не раз достигал еще более сказочной страны, жители которой были совершенно счастливы ввиду отсутствия «твоего» и «моего» и полной общности имуществ.

«Александрия» по праву заняла одно из первых мест в той великой традиции сочинений, героем которых являлась сама история; сочинений, раскинувшихся на безбрежном пространстве мировой литературы, от басен первых логографов до исландских саг, от «Троецарствия» Ло Гуаньчжуна до «Повести о доме Тайра».

Возможно ли возобновить эту традицию?

Впрочем, если древнее и средневековое повествование было историей, то и история была повествованием.

«Император Цинь Ши-Хуанди... переправлялся через реку... Лян и Цзи оба наблюдали за переправой. Цзи воскликнул: «Его можно схватить и занять его место!» Лян тотчас же зажал ему рот и сказал: «Не болтай чепухи, не то казнят весь наш род». Но с той поры Лян стал ценить Цзи».

Эти строки Сыма Цяня врезаются в память гораздо лучше, нежели рассуждения современного историка: «...тяготы циньского правления... дальнейшее ухудшение положения масс... растущее недовольство феодалов...»

Чем отличается повествование Сыма Цяня от описания исторических закономерностей? Тем, что повествование включает в себя и историческую закономерность, и ее опровержение.

Последнюю «Александрию» Европы сочинил Ла Кальпренед в 1645 г. Это была странная «Александрия»: великий честолюбец искал в ней не славу и власть, а всего лишь добивался любви женщины. Ему больше не нужен был иной мир, и даже Персия была ему не нужна. Македонец отложил в сторону меч, в котором отражались земля и небо, поправил перо на шляпе и учтиво молвил красавице Статире: «Победитель вашего народа – побежден вами! Вы

свершили то, что тщетно пытались свершить Азия! Я слагаю оружие у ваших ног, прекрасная принцесса, и в моем поражении больше славы, чем во всех моих победах».

Европа еще сопротивлялась. Еще оставался классицизм – последнее великое литературное направление, писавшее не о любви, а об истории; еще отказывался от Береники Тит, Химена требовала смерти возлюбленного, и сама страсть корнелевских героев была разумной и должной.

Честь, слава и жажда власти еще двигали героями классических драм; неистощимое нахальство и ненасытимый физиологический голод – героями плутовского романа. Но час пробил: стеклянные двери Венерина грота захлопнулись за Тангейзером. Юпитер поступил в услужение Данае в виде пажа с золотистыми волосами, которые напоминали бы слегка золотой дождь, если бы не были так завиты и напомажены; Олимп опустел, Ахиллес предпочел мечу прялку, Геркулес попал в плен к Омфале:

– Может быть, вы хотите, чтобы в доказательство моей любви я совершил двенадцать подвигов Геркулесовых?

– Ах нет, дон Никасио, отнюдь нет, – отвечала дама, – я не требую от вас так много.

Герой перестал быть героем, а стал – облаком в штанах.

Модернизм, понятное дело, и не подумал покушаться на это главное Наследие классической литературы, только герои его стали столь женственны, что для упрощения стали любить лишь самих себя, хотя и не всегда отвечая себе взаимностью.

Душа повествования есть событие, перемена и приключение. И в Европе, начиная с Возрождения, женская прихоть и перемена в любви стала последним и не лучшим заменителем прихоти Рока, Правителя или Народа, обладающего всеми пороками правителя и ни одним из его достоинств. Эпоха «Романов об Александре» миновала.

Хромой бес сладострастия Асмодей и Купидон, «сводящий господ со служанками и бесприданниц – с нежными любовниками», казалось, завладел литературой.

А потом произошла вещь еще более непонятная: из романов повывелись герои, попадающие в плен к туркам, едва сев на корабль, перестали похищать из сералей султанш, пропали грозные разбойники и коварные евнухи, броды, перекрестки и талисманы; таинственные острова превратились в светские гостиные.

Прошло еще немного времени, и благородные разбойники, изгнанные со страниц высокой литературы, возродились в жуткой маске Фантомаса, ибо природа не терпит пустоты.

Произошло невиданное: единое поле культуры распалось на культуру массовую и культуру элитарную, со всеми последствиями, которые влекут за собой шизофрения и двоемыслие. Модернисты назвали неумение строить сюжет изображением бессмысленности жизни, а философские проблемы, изгнанные из массовой литературы, которая одна способна обсуждать их с надлежащей долей иронии, вернулись тем не менее в массовое сознание. И самые неудачливые из сочинителей принялись выдумывать совершенно заумные тексты, именуемые «программами-максимум» и «планами ГОЭЛРО».

Итак, я хочу возобновить традицию – традицию не XIX и не XVIII, но XII века. Я беру свое добро там, где его нахожу, ибо только заимствуя и опираясь на традицию, возможно создать подлинно новое, – и в этом еще одно сродство повествования и истории.

Я не хочу писать реалистический роман и еще менее – роман постмодернистский; я считаю, что в хорошо написанной сцене должно быть полстраницы, два афоризма и один убитый; что действие должно развиваться от события к событию, а не от комментария к комментарию, – назовите это, если угодно, неотрадиционализмом, но понимайте под традицией большую часть мировой литературы, где история неотличима от повествования и где в рассказе об Искандаре, желавшем завоевать страну мрака, ровно столько же мудрости, сколько в намерении самого Александра провозгласить себя богом, и гораздо больше истины, нежели в любых толкованиях этого намерения.

Для этой традиции материей литературы оказывается не слово, а повествование. Повествование предполагает перипетии и приключения, а они, за исключением острог, не совершаются на пространстве одного слова, но требуют пространства фразы, абзаца и главы.

В этой книге действуют не только люди, но и города или дворцы, дворцы с серебряной кровлей и золотыми балками, круглыми, как солнце, – потому что дворцы и сады – суть не пейзаж, а действующие лица истории.

В этой книге действуют боги – потому что, по замечанию историка, политики знают, сколь неохотно толпа отваживается на необычайные предприятия, если не питает надежды на помощь богов; притом в минуты опасности народ ищет спасения скорее в безрассудствах, нежели в благоразумии.

Историю нельзя предсказать, и именно поэтому ее можно делать, заметил Карл Поппер. Добавлю – историю нельзя описать, о ней можно только повествовать. Ибо повествование является ложью, и к нему в полной мере применим парадокс лжеца, который, как известно, говорит правду в том и только в том случае, если всегда лжет; и лжет, если хоть иногда говорит правду.

Однако автор умолкает и предоставляет слово рассказчику.



Я, Филодем из Гераклеи, заканчиваю эту повесть на восьмидесятом году жизни, в тысяча пятьдесят шестом году от основания города; а задумал я ее без малого полвека назад.<sup>1</sup>

Тогда покровитель мой, марзбан Сакастана Хормизд, не хотел меня видеть: один негодай, по имени Васак, оклеветал меня в его глазах за какие-то пустяки. Я сильно тосковал, и один халдей велел приняться мне за что-то, не сулящее выгоды. А потом начальник стражи Хормизда, мой доброжелатель, рассказал марзбану, что я обещал ему тысячу дирхемов, если он даст закончить мне повесть. Хормизд так удивился, что велел привести меня, и я перевел ему некоторые отрывки, касающиеся греков. В начале нашего разговора Хормизд обращался со мной, как с падалью, а в конце речь его была для меня, как медвяный финик, из которого вынули косточку и начинили миндалем.

Он спросил меня, знаю ли я, что говорит обо мне Васак, и я ответил: «Меня это совершенно не заботит, потому что если это правда, то ты меня уже простил, а если клевета, то не поверил».

Вскоре Хормизд совершенно смягчился и обещал, что всякий дирхем, предназначенный ему, пройдет через мои руки; а немного погодя выдал Васака в полное мое распоряжение, с домом и имуществом, и я пытал его, пока он не умер, а повесть совершенно забросил.

Много после этого довелось мне испытать; жизнь моя скорее увлекательна, чем приятна.

Побывал я и в дибирестане царей Ирана и не Ирана, и писцом при консистории доминуса, возвратился в родной город в качестве *agentes in rebus*, побывал и дуумвиром и не разорился и на этой должности – в отличие от предшественников, вопреки черни, падкой на угощение, и наперекор стараниям куратора Цецилия Руфа, – впрочем, должность эта на моих глазах впала в ничтожество.

Наблюдая вблизи повадки царей и народов, написал я эту повесть о явном и тайном, добром и худом, полную разбойников и приключений, поучительность соединяя с занимательностью, в наставление и помощь тем, кто заискивает перед владыками этого мира.

---

<sup>1</sup> Т. е. в 303 г. н. э. Действие же повести происходит в 387–364 гг. до н. э., то есть больше чем за 6 столетий до жизни рассказчика; этого уже достаточно для объяснения известной фантастичности повествования, если б не сама стихия вымысла, который и логографов заставлял повествовать лишь о занимательном, и Ксенофонта в «Киропедии» пренебрегать исторической правдой в угоду собственным соображениям. (Прим. ред.)



Нынче все зачитываются баснями на милетский лад о любви и превращениях, вроде Харитоновой Херея и Каллирои, Ямвлиховой Вавилоники, приключениями по ту сторону Фуле, историей об Аполлонии Тирском или баснями об осле Лукии куда ни ткнишь, переписчики скрипят над ними, а не над Фукидидом или Полибием; а меж тем Аристотель или Аристарх, или Дионисий Фракийский, или Зенодот и жанра-то такого не знают, и как назвать – непонятно: *dramatikon*? *diegema*?

Достаточно прочесть одно из этих повествований, чтоб составить себе представление об остальных: сначала будут там юноша и девушка, влюбившиеся с первого взгляда, потом их, конечно, разлучат, и пойдут приключения одно невероятней другого, так что непременно встретятся и пираты, и разбойники, и маги, и кораблекрушения, и мнимые смерти, – и нечаянные воскрешения: так что самые нахальные превратят, пожалуй, героя в осла; а те, что поскромнее, только в нищего или изгнанника. Будут и соперники в любви, и козни при царском дворе, и в конце все завершится счастливым возвращением или превращением; а у самых нахальных, пожалуй что, и преображением. Словом, нет такой страсти, какой бы этот юноша не претерпел, домогаясь возлюбленной; а впрочем, страсти претерпевает скорее не юноша, а один лишь член его тела.

И зачитываются этими книжонками так, будто в самом деле люди не едят, не трудятся, не злобствуют, не сражаются, не стремятся к богатству и власти, а только и делают, что любят друг друга. И неужто из всех страстей, владеющих человеком, эта самая пагубная?

Раньше, когда Эллада была свободна, у Аристофана главным действующим лицом был хор, а не хитрый любовник, и хор этот набирался из граждан, а не из актеров; и тогда в комедии презирались женские объятия; а теперь и читателей, и героев сверкающими глазками, сочными поцелуйчиками и душистыми грудками забирают в неволю и держат в рабстве.

Раньше, бывало, зачитывались речами, с которыми ораторы и стратеги обращались к народу; а нынче те же речи держат влюбленные друг с другом, а то и наедине с собой; да кто слышал речи наедине и какая от них польза миру?



Впрочем, и в этих историях можно заметить, что не о любви идет речь, ибо слишком часто герой и героиня с богами сравниваются; и приключения их словно спуск в подземное царство, а воссоединение непременно происходит при большом стечении народа; а от брака их вырастают порой такие колосья, что скрывают с головой едущего всадника.

Так что, в сущности, эти авторы ничего не придумали, и герои их претерпевают Дионисовы страсти, а женихи, входящие в брачный покой, подобны триумфатору, въезжающему в город на солнечных конях; и с людьми их связывает больше внешнее подобие, чем истинная природа.

Так что поневоле, когда читаешь о безумствах этого Херея, то вспоминается Пирр, неутомимый в своей любви к завоеваниям: не раз и не два, словно без памяти влюбленный, покушался овладеть он Италией. Или Ганнибал, неутомимый в своей ненависти к Риму, и этот, по замечанию историка, «о действительных причинах молчал и подыскивал нелепые предлоги, как обыкновенно поступают люди, одержимые страстью и пренебрегающие требованиями пристойности».

И когда наследники Александра то воевали меж собой, то брали замуж дочь соперника, что же, спрашивается, Антиох ли домогался власти, чтобы взять замуж Беренику, или Беренику брал замуж, чтобы приумножить владения?

Думается мне, что обратное: ведь многие цари, боясь потерять власть, убивали мужей и жен, но не было из них никого, кто бы добровольно расстался с завоеванным, и великое цар-

ство распалось от похоти диадохов, от того, что тогда называлось плеонексия – необузданная страсть к стяжанию, похоть могущества.

Рим был долгое время избавлен от подобной пагубы; так что в Элладе и тираны, и цари приходили к власти, соблазняя народ и наемников соучастием в конфискациях и расправах, а сенаторы и Спурия Кассия, и Спурия Меллия, и Марка Манлия, и обоих Гракхов казнили по обвинению в стремлении к тирании. Но со времен Максимиана, который правил совершенно по образцу Спартака и окружил себя самыми подлыми людьми, властители целых полвека были преданы этой пагубе, так что, казалось, республика погибла подобно царству Македонца.

И вдруг за несколько лет: законы соблюдаются, города процветают, персы, хотя и не разбиты наголову, уже не считают себя хозяевами мира; нравы исправляются; и даже мир вновь обрел равновесие, и отчасти, думаю мне, оттого, что резиденция доминуса из Рима перенесена в Никомедию, на землю, которую всегда оспаривали между собой Азия и Европа. Тут я, правда, горд за родной город: ведь от Никомедии до Гераклеи два дня пути посуху и три морем.

Так-то оказывается, что та же страсть, что рушит государства, их же и создает, если только найдется человек достаточно великий, подобный Ардаширу или Диоклетиану; ведь всякая вещь в мире претерпевает и превращается в свою противоположность, исключая разве губительную алчность.

Вот об этом-то и хотел я написать книгу; однако не историю, потакая нынешним вкусам. Ведь историку полагается приносить пользу правдивостью повествования; для писателя же главное – ввести в заблуждение посредством правдоподобного, хотя бы и вымышленного изложения. Вот я и пишу милетскую басню и охотно пересаживаю в свой цветник – об этом считаю своим долгом предупредить обязательно – и высказанные греками драгоценные суждения, и рассказанные персами забавные случаи.

Так что потерпите немного: будут вам и разбойники, и колдуны, и похищения, и воскресения из мертвых, и неожиданные встречи, и хитроумные каверзы, и коварные евнухи, и непостоянные цари, а наипаче – наставления, смею надеяться, мудрые и полезные, взятые из собственного опыта человека преуспевшего, – о том, как угождать царям и толпе и на людей оказывать влияние.

Ведь ни одна, пожалуй, страсть так сильно не владела окружавшими меня людьми, то возвышая их, то ввергая в несчастья, как плеонексия: видел я ее и у римлян, и у эллинов, и у сирийцев, и у галатов, в Ктесифоне и в Никомедии; и неудивительно – ибо природа человека неизменна, подобно водам реки, а города, люди и страны похожи на расписные бадейки оросительного колеса, которые черпают воду и опорожняются вновь.

## Книга 1

О двусмысленных пророчествах, ложных доносах и подмененных письмах, о святотатстве в храме Эвия, бое в верховьях Сангария, о коварстве персов и свободолюбии греков – словом, о той повседневности, с которой лишь и могут начаться истинные приключения которой лишь и могут начаться истинные приключения

Архелай, отец Клеарха и один из лучших людей города, навещал свое поле рядом с пещерой Эвия, и в роще на обратном пути ему попался кабан со шкурой цвета запекшейся крови. Кабан брел по воздуху, не касаясь земли: этот вид дурных духов водится в наших местах, по пространству принадлежащих Азии, а по устройству – Европе.

Архелай пришел в ужас и заболел.

Когда надежды на излечение почти иссякли, старик, очистившись, сам отправился в храм с жертвой Эвию. Выхали в рыночные часы, а на место приехали уже в сумерки. Архелая сопровождали двое старых друзей, раб Гета и стройный, красивый юноша, наряженный по афинской моде в короткий спартанский плащ. То был некто Стилокл, сын Архелаева гостеприимца в Афинах и друг Клеарха. Со Стилоклом был эфиоп – варвар и раб, – впрочем, эти понятия по природе своей тождественны. Архелай расспрашивал афинянина, куда тот направляется и с какой целью, и тот ответил:

– Я собираюсь повидать некоторые счастливые народы, которые подобно скифам и агафирсам живут, имея общими детей и имущество согласно Платону, и насладиться зрелищем народа, который всегда пребывает в спокойствии, видя, что самые могущественные люди не богаче его.

Архелай, человек простой и благонамеренный, подивился ответу, ибо ему в молодости случалось воевать со скифами и грабить их, и он не знал, что скифы в последнее время стали жить согласно Платону.

Он стал расспрашивать Стилокла о сыне своем, Клеархе, и тот отвечал:

– По моему мнению, сын твой – один из замечательнейших людей Эллады и один из лучших учеников Платона.

Архелай заметно нахмурился. По правде говоря, он слюбился с матерью Клеарха на весенних Дионисиях, через три месяца взял ее за себя, а через шесть – родился мальчик. Но два года назад женщина умерла, и Архелай выискал себе другую жену, Клелию. Эта жена родила ему второго сына, Сатира, и всячески изводила старика просьбами, чтобы он не признавал Клеарха ни своим сыном, ни Дионисовым. Она-то и спровадила юношу в Афины. Делала она это не из природной злобы, а просто потому, что тогда в Гераклею еще было не в обычае завещать имущество кому угодно, но все, кроме малого надела, получал старший сын.

Капище Эвия довольно обширно и вмещает десяток пирующих. Работники с барашком пришли вперед, совершили возлияния, расположили на жертвеннике дары. Старик собирался принести в жертву двух барашков, но, поразмыслив, решил удовольствоваться одним: все-таки меньшая проруха хозяйству.

Спутники ушли ночевать в домик арендатора, клянясь, что ни за что не останутся в пещере, а старика уложили на приготовленном ложе. С ним, впрочем, остался Стилокл. Афинянин, брезгуя чудесами, завернулся в плащ, устроился поудобней и тут же заснул.

Ночью пещера затряслась, из глубины ее раздался грохот:

– Вот так подарки, вот так подарки!

Одного барашка Эвию, стало быть, показалось мало.

Старик закричал и в ужасе бросился вон. Работники вернулись в пещеру лишь утром. Афинянин мирно спал, а части жертвы были сброшены с алтаря. Афинянина растолкали и принялись расспрашивать. Тот отвечал, что спал всю ночь и ничего не видел, а что касается

разоренного барашка, то, несомненно, в пещеру забежала ласка. «Эх, – подумал Архелай, – вот действительно люди из Афин. О скифах и гиперборейцах знают, а то, что у них под носом, разучились видеть».

Работники говорили между собой, что старик, поскупившись вторым барашком, рассердил бога и жить ему теперь недолго, ибо богатство, не употребленное для раздачи богам и бедным, обыкновенно приносит несчастье.

Настала вторая ночь. Афинянин опять улегся и засопел, а старик лежал без сна, и мысли его метались взад и вперед. Наконец явился Эвий; ночь они провели в беседе, а когда запели петухи, Эвий потускнел и исчез.

Наутро, перенесенный в домик арендатора, старик объявил в присутствии друзей свою волю и заснул; вся болезнь его была от вздорных наветов женщины. К вечеру он пробудился, совершенно успокоенный. Работники были еще в полях. Он встал, осмотрел у дома грядки с репой и пряными травами, инвентарь. Заглянул в колодец во дворе, заметил, что веревка при ведре подгнила, и положил выбрать арендатора, когда тот вернется, потому что в злой час веревка непременно оборвется и ведро утонет.

Потом пошел он проводить бычков и по пути заметил молодого гостя своего, Стилосла, который сидел под большим платаном, беседуя со своим черным рабом, что удивило Архелая, ибо он считал этого раба немым. Он стал слушать и слушал довольно долго. А потом вышел к собеседникам и сказал:

– Ага! Вижу я, какой премудрости учат нынче в Афинах: учинять святотатство и при жизни изображать из себя бога!

С этими словами старик подхватил изрядную жердь и бросился на оторопевших юношей, ибо по речам и повадкам эфиопа признал в нем своего сына и понял, что за шутку сыграли с честным человеком ученики Платона.

– Напротив, отец, – дерзко возразил крашенный раб, – я-то чту Эвия, и оракул сулил мне удачу в этом святилище; ты же вряд ли считаешь богов, скупясь на жертву, и если Эвий слышит нас, он не попустит, чтобы слова оракула пошли прахом!

От таких речей старик в изумлении попятился, поднял жердь, и – о чудо! – вместо сына на него шерился кабан со шкурой цвета запекшейся крови.

Архелай с криком пустился прочь, но, пробежав десяток шагов, всплеснул руками и повалился глазами вниз. Афинянин бросился к нему; старик лежал, как кучка мякины.

– Что это с ним? – вскричал афинянин с тоской.

– Разве ты не видел? – спросил Клеарх.

– Что?

– Как только я сказал, что боги не попустят, чтобы слова оракула пошли прахом, за плечом его вырос Эвий с полым лицом и вытряхнул из своего плаща целую свору кабанов. Право, я никогда не верил, что такие вещи бывают, а теперь вот убедился собственными глазами.

Клеарх говорил совершенно серьезно, пристально глядя на друга. Стилосл стоял белый, как камфара, и волосы его взмокли от пота. Мысли его кружились, как вспугнутые дрозды. Он не знал, что и думать: помнится, никакого бога он не видел, но кто он такой, чтоб видеть богов? Ведь Клеарх видит мир настолько лучше его!

– Беги в поле! Позовешь работников и расскажешь все, как было: как ты сидел под деревом и как мимо тебя пробежал Архелай с вот этой жердью в руке, а за ним гнался по воздуху кабан, а тебе казалось, что ты заснул и видишь сон.



Стилокл покинул Гераклею с первым кораблем, как бы торопясь вернуться в Афины. Находясь всецело под влиянием Клеарха, он не только рассказывал все, что тот велел, но и вполне верил собственному рассказу. Отчего-то, однако, был бледен и задумчив.

В третью ночь плавания разыгралась буря; афинянин стал плакать и жаловаться Клеарху, что задуманная ими шутка обернулась преступлением и нарушением закона и стала причиной бури. Клеарх засмеялся и спросил:

– Друг мой! Не ты ли сам рассуждал на наших пирах, что законы подобны узам. наложенным на общество, временно лишенное верховного разума? И если явится идеальный властитель, то связывать его законами – это все равно что связывать здорового человека веревками: и разум от этого слабеет, и тело гибнет?

Стилокл молчал. Лил косой дождь, и молнии раскалывали облака, а волны, подобные горам, то поднимали корабль к небу, то опускали на самое дно; и по одному этому некоторые суждения Стилокла на пирах представлялись теперь не очень верными, словно истина зависит от времени и места ее высказывания.

– Друг мой! – сказал наконец афинянин. – Я знаю, что по возвращении в Гераклею ты будешь играть роль выдающуюся, роль защитника или погубителя отечества. Честолюбие твое безгранично, но все-таки честолюбие – порок, более близкий добродетели, нежели алчность или жадность. Поклянись же мне, что в Гераклею ты устроишь государство наилучшее, в соответствии со всеобщей истиной, а не с частными удовольствиями.

Клеарх улыбнулся в темноте и ответил:

– Клянусь, Стилокл, что я устрою государство наилучшее при существующих обстоятельствах.



Подобно тому, как колесничему, добивающемуся победы на играх бешеной скачкой, надлежит тщательно и самолично проверить сбрую и снаряжение колесницы, – подобно тому и рассказчику, прежде чем погрузиться в пучину событий, необходимо заняться описанием.

Поэтому – да не усмотрят в последующих строках лишь стремление расхвалить родной город, словно сводне смазливую девицу, – говорю вам, что без этого рассказ невозможен.

Город Гераклея расположен между Вифинией и Фригией, на Ахерусийском полуострове, в устье реки Ахерон, и трехрядный корабль доплывает от Византии до Гераклеи за один долгий день. Места тут благодатнейшие: мирты, орехи, померанцы плодоносят необыкновенно, горы и море исполнены дивной красоты, земля тучна, а в горах с широко разбежавшимися, пологими склонами есть серебро и железо.

Город был основан выходцами из Мегар, однако задолго до этого Геракл, отправившись за поясом Ипполиты, победил царя бебриков Мигдона и отдал здешние земли Лику, царю мариандинов.

Мегарцы, выводя колонию, потребовали эти земли обратно, фригийцы ответили отказом; Лисимен, предок Клеарха, Пандионид повторил подвиг Геракла, разбил мариандинов и обратил их в наказание за неблагодарность навеки в рабов наподобие илотов и пенестов.

(Впрочем, Неоклиды, которые переселились в Гераклею позднее и возводили свой род к Полидевку, говорили, что царь бебриков звался не Мигдоном, а Амиком и убил его Полидевк, а не Геракл.)

Пандиониды – старейший род Гераклеи, приплыли из Мегар по пути аргонавтов, мимо Симплегад, а не мимо Халкидики. Это путь, по которому никогда не проплыть торговцам с товарами, по нему плавают лишь воины и дары.

В это время в Гераклее был как бы золотой век: каждый обрабатывал свой участок, довольствуясь необходимым, простой народ питал уважение к знати, а знатные люди были чужды алчности и полагали, что достойней раздать золото друзьям, приобретая их защиту и поддержку, нежели дрожать над ним и закапывать его в землю; железные рудники в горах, земля и мариандины, бессильные владеть собой из-за отсутствия разума, были в общей собственности.

В Мегарах же чернь стала требовать передела земли и прощения долгов: знакомая пагуба, словно созданная для того, чтобы разъедать изнутри лучшие и процветающие государства. Чернь бродила по домам, требуя подаяния и, если не находила его достаточным, расправлялась с обитателями: однажды народ снес знатных младенцев со всего города на ток и пустил туда быков. А потом, как это часто бывает везде, где зависть делает невыносимым блеск богатых, к власти пришел тиран Феаген, и множество людей бежали из Мегар в Гераклею.

Как раз в то время, когда Кир овладел Мидией, ойкист Гнесиох опять вывел в Гераклею колонию, но, как я уже сказал, «сто семейств» были там раньше. Начались войны с фригийцами. Из полученной земли каждому колонисту выделили навечно по шесть плефров и участок для застройки в городе. Помимо народного собрания, в котором принимали участие все способные к военной службе и владеющие землей, был учрежден совет трехсот, он же избирал десятиртых эсимнетов из лучших граждан.

Никто не смел облагать налогом свободного гражданина или платить должностному лицу, словно поденщику, и должности сами собой принадлежали лучшим.

Знать соревновалась не в подачках народу, а в сооружении храмов. Подати взимали с фригийцев, пошлины – с торговцев. Сумма пошлин все росла, а после неудачи ионийского восстания в дорийскую Гераклею хлынули ионяне, испорченные тиранами, персами и торговлей. Так-то получилось, что лучшие люди бежали от горшечников и колбасников в Понт, а на самом деле проложили горшечникам дорогу, – вскоре одни стали тайком продавать землю, а другие обирать своих граждан.

Тогда город вывел несколько колоний с тем, чтобы удалить безземельных из города и наделить их землей, ибо, бесспорно, лучший способ отвратиться от посяганий на чужую собственность – это иметь свою.

Последнюю колонию, Херсонес, вывели лет за тридцать до описываемых событий, по предложению Клеонима, деда Клеарха.

Клеоним был избран эсимнетом, когда афинянин Ламах разорял гераклейскую хору, и сумел удержать Ламаха от поддержки городских болтунов, а гераклеотов – от необдуманной расправы с афинянами. Через год он, однако, сложил с себя должность, говоря, что эсимнетия – это, в сущности, выборная тирания и нужна лишь во время войны или смуты.

Во время описываемых событий во главе лучших людей и во главе города стоял муж по имени Архестрат, человек безупречной честности и придерживавшийся умеренности во всем, как в частной, так и в общественной жизни. Он неоднократно говорил, что бедные имеют право на жизнь и имущество, а богатые имеют право не быть разоренными в результате обогащения бедняков. Полагая неразумным, чтобы людям, расстроившим ленью и небрежением собственное достояние, было вверено достояние общественное, он препятствовал необузданной демократии, однако облегчил бремя долгов, а также учредил суд по образцу афинского. Полис выдавал за участие в нем по два обола.

Вскоре после этого поссорились два молодых человека, знатных юноши, Эветион и Аристодем: Аристодем собл. азнил любимца Эветиона, а последний в отместку – его жену. Народ, подстрекаемый друзьями Аристодема, выставил Эветиона на городской площади с колодкой

на шее, и от этого произошел раскол среди аристократии. Воспользовавшись им, Архестрат вместо деления по трем филам со знатью во главе убедил людей разделиться на шестьдесят сотен, так что имущие были рассеяны по сотням среди народа; ввел правило платить налог не с земли, а с имущества и вдвое увеличил совет трехсот за счет недавно разбогатевших. Последним обстоятельством не только знать, но и многие из народа были недовольны и воспротивились, когда некто рыбак Фаней стал добиваться архитеории. И действительно, когда знатный человек за свой счет строит корабли или снаряжает посольства для города, тут ведь речь идет не о тратах золота, а о том, чтоб удача, сопутствовавшая предкам и ставшая золотом, сопутствовала кораблю.

Авторитет Архестрата был неоспорим, пока неудачная война с тиранами Боспора не дала желанного повода Метону, главе демократов, обвинить совет шестисот и Архестрата лично в изменен растрате общественных денег.

Город, казалось, стоял на пороге гражданской распри, и все чаще и чаще раздавались требования передела земли и прощения долгов, словно Метону было неизвестно, что первая мера приведет к запустению обширных пашен, а вторая окончательно подорвет всякое доверие в денежных делах.



Как то часто бывает в городах, где вражда разделяет людей как бы на два государства – бедных и богатых, – рознь на этом не останавливается, и внутри каждой партии тоже возникают различия. Отец Клеарха зачастую противился Архестрату, считая, что там, где простому народу отдают власть, народ отбирает и имущество, и тогда, стоит привыкнуть к жизни за чужой счет, дело легко доходит до тирании, едва лишь найдется вожак.

Клеарх, однако, стал на сторону Архестрата, и осмотрительность его снискала ему любовь лучших людей, а щедрость – любовь народа. В самом деле, молодой Пандионид богатство свое употреблял не на бесполезную роскошь, но, казалось, заботился о пропитании народа, раздавая хлеб, облегчая, сколько возможно, бремя долгов и заступаясь за бедняков, и невинный всегда мог рассчитывать на его справедливость, а виновный – на его милосердие.

Выказывая осмотрительность, он полагал, что законы следует менять с осторожностью, ибо слишком часто, когда начинают ломать существующие порядки во имя блага, тут же начинают ломать их во имя зла.

Желая отвергнуть подозрения в нечестии, он обновил старинное общество оргеонов Эвия. Множество имущих и неимущих, а также неправоправных метанастов участвовали теперь в общих трапезах, как бы сплываясь вокруг почитаемого героя и самого Клеарха.

В это время Клеарх был равнодушен к одному мальчику-рабу, но хозяин наотрез отказался отступить от него. Мальчик как-то ночью сбежал к Клеарху, обливаясь слезами и показывая ужасные шрамы, и просил похитить его у хозяина или оспорить в суде. Клеарх, однако, то ли поняв, что мальчик подослан врагами, то ли вследствие добродетели, ставшей из привычки второй натурой, дал мальчику денег и прогнал его, сказав: «У меня теперь слишком ревнивая любовница».

Честолюбие бешеное, ненасытное, страсть по имени плеонексия, многоликая и неизменная, распространившаяся меж греками той поры, сжигала его. Людей неправоправных побуждала она рыскать по морям, промышляя торговлей и не зная предела в искусстве наживать деньги ради денег, одержимых честолюбием звала и заискивать перед народом и помыкать им: ибо, в самом деле, народ не терпит людей выдающихся среди себя, но только выше или ниже.

Следует, однако, признать, что честолюбие, хотя и порок, все же ближе к добродетели, чем алчность, ведь стремление к славе меняет лицо. мира; а искусство наживать деньги ради

денег возбуждает лишь зависть толпы или правителей и желание завладеть несправедливо нажитым добром.

Клеарх отправил послов в Дельфы, к Аполлону. Оракул был весьма двусмыслен и дал демагогам новую пищу для насмешек. Локсий сказал:

Прочь от святыни моей! В храме фригийского бога  
Ждет, о властитель, тебя Ники победный венок.



Говорят, что народ подобен женщине. Честная женщина не любит, когда ей сразу предлагают то, к чему она стремится, но хочет подарков и ласковых взглядов прежде слов. Нельзя навязывать ей свою любовь: надо дожидаться, чтоб она сама о ней мечтала, тогда и станешь желанным. Также народ прежде полюбил Клеарха за его щедрость, а потом увлекся его словами.

Вскоре Клеарх и его сторонники стали добиваться вывода колонии в близлежащую долину во Фригии: и почва тут была тучная, и гавань удобная, и горную дорогу в глубину Азии было легко одолеть во время мира и легко запереть во время войны.

Для Метона это было, однако, как если бы он сложил весной в кучу обрезки лозы и собрался поджечь, чтобы согреться, а некто воспрепятствовал ему и предложил посадить обрезки в землю, ибо они способны еще укорениться и принести добрый плод.

Метон злился и повторял гражданам совет Афинодора: наказывать тиранов уже за те зловерные помыслы, которые они бы осуществили, если бы были в состоянии; ибо часто, если не накажешь подозрительного, потом уже не сможешь наказать тирана. «Разве неясно, – восклицал он, – что человек этот раздает деньги народу, чтобы купить его любовь, и рвется к тирании!»

Клеарх на это везде говорил: «Я, однако, раздаю народу собственное имущество, а Метон хочет раздать чужое. И если первое называется щедростью, то второе издавна называется грабежом!»

Архестрат, встревоженный столь явным честолюбием и видя, что Клеарх окружил себя людьми, более преданными ему, чем закону, попытался воспрепятствовать выводу колонии в совете шестисот, но увидел, что юноша свой молодой возраст, запрещающий ему доступ к общественной должности, обратил из недостатка в преимущество. Дело в том, что по настоянию Архестрата в совете шестисот заседали как старые роды, искони владевшие землей, так и люди, недавно обогатившиеся через приобретательство. Так как Клеарх не выступал публично, а скорее беседовал с глазу на глаз, то с людьми новыми он рассуждал, что бедность не должна быть ни препятствием для человека трудолюбивого, ни источником выгод для бездельника. А людям родовитым на упреки в расточительности отвечал: «Мои предки основали город, что же мне подражать новым богачам, которые зарятся на имущество знати, а свое не спешат раздавать? Они нажили свое добро обманом и мошенничеством, что ж хорошего в их власти?»

Тогда-то неожиданно для всех Архестрат вынес вопрос о войне на обсуждение всех граждан.

Семнадцатого таргелия созвали народное собрание, и первым говорил Метон, размахивая по обыкновению руками и громко вопя.

**Метон.** Народ, доколе будешь ты обманываться и вместо свободы дома завоевывать для богачей земли за морями? Не так давно затеяли они войну с тиранами Боспора, и что же? Люди бедные заложили земли и дома, чтоб купить оружие, и одни лишились жизни под Херсонесом, другие – отеческого имущества, скупленного задешево в Гераклее.



Неужели вы допустите, чтобы деньги, собранные для войны, опять были утаены олигархами и послужили обогащению богатых и обнищанию бедных?

Если бы голосовали тотчас после речи Метона, то, наверное, не нашлось бы ни одного желающего записываться в колонисты. Многие плакали и кричали. Клеарху долго не давали говорить. Наконец он вышел перед народом, укрыв пристойно руки полами плаща и сказал так:

– Клянусь Зевсом, Метон, тебе трудно угодить! То ты порицаешь меня за щедрость, то упрекаешь в стяжательстве, словом, сам не знаешь, как опорочить соперника.

Нечисто тут дело! Можешь ли ты поклясться, что возражаешь против этой войны, думая лишь о благе народа? Или же ты просто подкуплен варваром Ариобар-заном, который опасается за свои владения и везде поощряет демагогов, полагая, что их власть приносит персам наибольшую выгоду?

Или же тебя всего больше страшит согласие, возникающее между гражданами во время войны?

**Метон.** Клянусь, я думаю лишь о поборах с народа!

**Клеарх.** Хорошо же! Тогда поручите эту войну мне, я сам заплачу наемникам, так что расходы понесу я, а выгода достанется всему городу!

Предложение это было столь неожиданно для всех, что народ, какой-нибудь час назад требовавший не допустить войны, тут же принял решение о выводе колонии.

В городе только и было разговоров о предсказании Аполлона и храме фригийского бога, где молодого полководца ждет победный венок. Помимо наемников множество гераклеотов записывалось в войско, будучи обязано Клеарху в хорошем и в дурном. Но тут неожиданно пришло известие, что вифинский царек заключил союз с сатрапом Фригии Ариобарзаном, а сын его, ровесник Клеарха, девятнадцатилетний Митрадат, выпросил у отца начальство над войском.

Два фригийских городка, подвластных Гераклею, Хела и Кандира, подкупленные персом, изменили городу.

По предложению Метона граждане предложили продать жителей Хелы и Кандиры, а имущество их распределить между гражданами.

У Клеарха в это время был кружок преданных товарищей; с ними Клеарх говорил совсем по-другому, чем с народом; не от какого-то двоедушия, но просто потому, чтоб они видели, что ночные его речи не похожи на дневные, и чувствовали себя особо приобщенными, как участники элевсинских таинств.

Об этих-то людях Метон кричал везде, что глупо создавать в городе войско, более преданное своему повелителю, нежели закону, и что Клеарх хочет того же, что боспорский тиран Левкон: над гражданами он будет тираном, а над завоеванными варварами – царем, а то вернется с войском и захватит город.

Иные Метона слушали, а иные кричали, что он подкуплен Митрадатом.

Мнение гераклеотов переменилось; образумившись и не доверяя обоим вожакам, они, как это в обычае при демократии, обоим и поручили начальство над войском: один день стратегом был Метон, другой день – Клеарх.

Накануне отбытия Клеарх пришел в дом к Архестрату, тот как раз приступил к скромной вечерней трапезе. Клеарх сел на табурет, отодвинул какую-то миску, взглянул номофилаку в глаза и сказал:

– И чего ты добился? Метон будет через день отменять мои распоряжения, я буду отменять его распоряжения, а в поражении опять обвинят тебя.

Архестрат молчал, понутив голову.

– Архестрат! Я прошу не за себя, а за Гераклею! Не доплывет до цели корабль, лишенный кормчего. Не победит врага войско, лишенное единоначалия!

Архестрат молчал. Клеарх посидел и ушел.

После его ухода сестра Архестрата, Агариста, женщина умная и ведшая его хозяйство, с горечью сказала:

– Что же это! Ведь юноша прав: единоначалие – вещь, наилучшая для управления войском.

– Да, он прав! Только, клянусь Зевсом, он не видит разницы между наилучшим управлением войском во время войны и наилучшим управлением народом во время мира.

– Неужели нет никакого законного способа остановить его?

– Ни его, ни Метона, ни кого другого – в этом-то все и дело.

Номофилак стукнул кулаком по столу и закричал:

– Если бы я хотел, я бы стал тираном десять лет назад! Но я не хочу пятнать себя преступлениями, потому что все в мире рано или поздно получает возмездие, мерой за меру! А теперь я вынужден совершать гнусности, чтобы пресечь похоть других!

Женщина спросила:

– Но стоило ли назначать вторым стратегом Метона, о котором ходят слухи, что он подкуплен персами?

Архестрат, который сам велел распространять эти слухи, ответил с горечью:

– Я надеюсь, что Метон и его друзья погибнут, чтобы смыть с себя кровью такое обвинение.



С самого начала поход сопровождали дурные знамения. После переправы через Сангарий раздали людям бобы: уже потом кто-то спохватился, что это пища мертвых. У Клеарха при жертвоприношении вдруг сломался нож, однако он не растерялся и, выхватив меч, рассек жертву.

Видя, что Митрадат избегает решительного боя, Клеарх приказал вырубать деревья и опустошать поля, чтобы принудить перса к сражению. Из-за этих трудов проходили в день не более двенадцати стадий.

В верховьях реки было святилище фригийского Диониса, Сабазия, внука Сангария, туда-то и вел Клеарх войска. Везде говорили об особенном сне и повторяли пророчество оракула о фригийском боге и победном венке; на самом деле, думается мне, Клеарх никакого сна не видел, но старался укрепить дух легковерной толпы, а сведения о местности собрал от лазутчиков заранее.

В седьмой день месяца боэдромиона пришли к святилищу; войско Митрадата, отступив, было в двадцати стадиях; священная роща и участок были вырублены, а храм разграблен и предан огню по приказу Митрадата. Кошунство потрясло греков. Клеарх созвал войско и сказал:

– Боги лишили персов разума! Таков уж закон войны, что каждый стремится нанести врагу всевозможный ущерб и не щадит ни людей, ни скот, ни посевы; персы, однако, глупы, продовольствие они привозят с собой, забывая кормиться грабежом, а богов норовят оскорбить!

Мыслимое ли дело, – сказал Клеарх, – нам бояться какого-то фригийца? Разве вы не помните, как шесть тысяч греческих наемников подошли к Гераклею, требуя продовольствия и кораблей; получили, однако, отказ, и город не сомневался, на чьей стороне будет победа! А меж тем наемники, которых мы даже на рынок не пустили, и царя победили, и прошли непобежденными через все его царство! Город наш был сильнее наемников, которые были сильнее царя, так неужто нам не справиться с сыном фригийского наместника?

Посмотрите, как они сражаются: в бои идут в штанах и в шапках, и поэтому их легко одолеть; что до знаменитой их конницы, так конница эта, пожалуй, хороша разве для преследования бегущих, и все, кто распускает слухи о коннице, видно, заранее намереваются бежать!

От этих речей войско чрезвычайно ободрилось.

На следующий день Клеарх оделся местным крестьянином, натянул на голову остроконечный колпак, взял два больших круга козьего сыра и отправился продавать их в персидский лагерь.

Он уже высмотрел все, что ему было нужно, когда услышал над головой по-персидски:  
– Эй ты, лазутчик!



И если вы хотите узнать, что случилось дальше, читайте следующую книгу.

## Книга 2

О таинственных письмах, о завистливых колдунах, об исполнившихся пророчествах, о сокровищах и темницах, о простодушных греках и коварных персах, а также о различиях между грабителями, воинами, сборщиками налогов и гелиастами

Итак, Клеарх услышал: «Эй ты, лазутчик!» – но и ухом не повел, а продолжал заворачивать сыр в тряпочку и только потом неспешно обернулся.

Перед ним на золотистом жеребце с высокими ногами и долгой спиной сидел молодой перс в длинном расшитом кафтане и шапке, закрывающей подбородок и щеки. Конь был покрыт целым ворохом драгоценных покровов, перса сопровождала свита.

Красотой и изнеженностью он походил скорее на девушку, нежели на воина, а в глазах его, черных и влажных, светились ранняя развращенность и своеволие.

Перс, однако, обращался не к Клеарху, а к старику фригийцу с корзинкой смокв, необыкновенно крупных и привлекательных. Старика схватили, он побледнел, норовя повалиться на землю, и закричал:

– Клянусь, я просто местный крестьянин, да меня тут многие знают!

– По сколько ты продаешь свои смоквы, честный крестьянин? – спросил Митрадат, а это был именно он. Старик ответил, и Митрадат засмеялся: Клянусь Ахура-Маздой, ты продаешь их втрое дороже справедливой цены, никто не хочет их у тебя покупать, и под этим предлогом ты обошел весь лагерь!

– Мои смоквы крупнее и вкуснее, – отвечал старик, – вот я и продаю их дороже.

– Неужели? – сказал Митрадат. – Надо проверить.

Тут старика привязали к дереву, а знатные персы обступили его, и Митрадат пустил корзинку по кругу. Все ели и плевали в старика косточками, а он только зажмуривался, кланялся головой во фригийском колпаке и повторял:

– Слава владычице! Слава владычице!

– Эй! – сказал Митрадат. – Кого ты хвалишь: Анахиту или Кибелу? И за что?

– Господин! Я сегодня думал, что нести на продажу: смоквы или персики, и если бы я понес персики, то косточка от персика давно выбила бы мне глаз!

Тут Митрадат рассмеялся и сказал:

– Напротив! Ибо я очень люблю смоквы и не люблю персиков. Ты действительно отличный садовник, и я беру тебя с собой в Даскилий.



Сражение было в четвертый день месяца боэдромиона, и в этот день войском командовал Метон, а Клеарх стоял на правом крыле с тяжеловооруженными всадниками.

Войска с обеих сторон состояли из греческих наемников, у гераклеотов еще была фракийская конница и прашники-меоты, а у персов конница была своя, с Митрадатом во главе. Пехота персов стояла вверху по склонам двух пологих холмов, и ей удобней было бежать вниз.

Иларх-наемник посмотрел, как Митрадат крутится во главе конников, сверкая на солнышке, и сказал:

– Какой красавец! (Иларх был равнодушен к красивым юношам.) Никогда, однако, не видел такого глупого расположения! Кто же выдвигает левое крыло вперед?

В это время во вражеском лагере запели пеан, издали клич в честь Энниалия и бросились вниз. Метон стоял у алтаря и приносил жертвы одну за другой, но жертвы были неблагоприятны, и он не решался двинуть войска.

Клеарх увидел: левое крыло персов уже теснит эллинов, а Митрадат спешно, без прикрытия послал в обход пельтастов, и дело вот-вот кончится разгромом. Клеарх сказал:

– Надо напасть на пельтастов, идущих в обход без прикрытия!

Иларх возразил:

– Жертвы пока сулят поражение, сигнала к бою нет!

– Жертвы сулят поражение Метону, а не мне, – и Клеарх пустил коня вскачь. Всадники устыдились и поскакали за ним. Они изрубили легковооруженных воинов, потом зашли в тыл правому крылу, спешили и начали рубиться. Персы не выдержали, и сражение быстро превратилось в беспорядочную резню. Слушались только Клеарха; преследовать врагов прекратили лишь ночью; зажгли факелы, стали грабить лагерь и трупы и собирать пленных в одно место. Захваченных греческих наемников привели в палатку Митрадата, где сидел Клеарх.

Хрисон, дядя Клеарха, вошел вперед них. Палатка была вся убрана драгоценными камнями и подушками, на столике стояла золотая и серебряная утварь, корзинка крупных смоков, засахаренные фисташки и множество других лакомств. Хрисон засмеялся и сказал:

– Это не палатка полководца, это девичий шатер.

Тут он посмотрел на Клеарха. Лицо у племянника было страшное и совсем бы белое, если бы не кровь на лбу. Клеарх невзначай вытер плащом пот. Клеарх поднялся, спрятал кожаный свиток, который читал, кинул в рот горсть фисташек и вышел.

Перед палаткой стояли пленные греческие наемники, Клеарх закричал на них перед гражданами:

– Боги покарали тех, кто сражался против свободы эллинов!

Командир наемников Бион, аркадянин, плюнул на землю и возразил:

– Боги покарали тех, кто сражался под началом Митрадата! Этот мальчишка бежал первым!

На следующее утро поставили трофей, развесили на деревьях оружие, похоронили павших. Хрисон в присутствии других командиров спросил Клеарха:

– Что за документы ты нашел в палатке перса?

Клеарх развернул папирус и, вглядываясь в арамейские буквы, стал переводить набросок Митрадатова письма отцу, писанного, как, осклабясь, сказал Клеарх, накануне сражения, в шестнадцатый день месяца багаядиша, что Митрадату очень льстило, ибо день был посвящен Митре: «Отец, я изучил повадки наемников и нашел, что каждому гоплиту правая сторона тела кажется йенее защищенной, так как он держит щит слева. Поэтому каждый старается напасть на противника справа и правое крыло выдвинуто вперед, а левое уходит назад. И почти всегда выходит, что оба правых крыла побеждают, а оба левых терпят поражение. После этого правые крылья как бы поворачиваются и сходятся между собой, и это решает битву. Завтра же все будет по-другому: я так усилил левое крыло, что оно-то и разобьет врага...»

Все командиры расхохотались, потому что назавтра был не семнадцатый день месяца багаядиша, посвященный Сраоше, а четвертый – месяца боэдромиона; Хрисон смеялся вместе со всеми, однако помнил, что письмо, поразившее племянника в палатке Митрадата, было написано на коже, а не на папирусе.



Вечером в захваченном шатре устроили пир, и в числе приглашенных были ближайшие друзья Клеарха, из граждан-среднего слоя, любящие имущество и отечество, равнодушные к демагогам и философам. Было еще несколько пленных греческих командиров, в том числе и Бион, совершенный аркадянин, грубый и честный. Бион уже успел как-то привязаться к Клеарху, потому что Метон, отстаивая интересы черни, грозился продать пленников. Кроме

командиров на пиру был давний друг Клеарха, афинянин Стилокл, и брат его, Тимагор. Оба явились к войску совсем недавно.

Клеарх пил больше других и смеялся над Метоном, который надеется через раздел имущества, которое ему не принадлежит, добиться власти, которой он не достоин.

– Нет, – говорил Клеарх собравшимся благонамеренным гражданам, никакой разницы между управлением хозяйством и управлением полисом. Таков уж закон положен городу: тот, кто хочет быть могучим, должен меньше тратить и больше приобретать.

Только справедливо нажитое идет впрок, а желание поживиться добром граждан никогда не ведет к гражданскому миру. Справедливое же приобретение бывает тогда, когда греки, оставив внутренние распри, нападают на врагов и захватывают их добро, ибо добытое в честном бою по праву принадлежит победителю.

– Клянусь Зевсом, – воскликнул спартанец Бион, – вот великий человек, способный разорить всю Фригию, а то и Лидию! А этот мерзавец Метон хочет продать нас, словно мы варвары! А правда ли, юноша, что тебе известен не только язык персов, но и тайны магов?

Клеарх, улыбаясь, отвечал, что поддержка людей основательных могущественней варварских таинств, но улыбка его была как-то нехороша, и сердце Стилокла, впервые видевшего друга после долгой разлуки, облилось кровью: не таких, признаться, речей о справедливом стяжании ждал он от Клеарха.

А брат его, Тимагор, нахмурился и сказал:

– Не так, Клеарх, говорили мы в Академии о государстве, устроенном наилучшим образом. Там полагали мы, помнится, что в подобном государстве должно быть устранено соревнование о большем и меньшем, и тогда равенство имущества и простой образ жизни, одинаковый для всех, воспитают в гражданах чувство самоотречения и обеспечат внутренний мир. Очевидно, при общности имущества исчезнет и вражда между гражданами, возникающая вследствие развращающего изобилия у одних и нехватки в необходимом у других. Исчезнут сами собой зависть и недоброжелательство, ссоры, сплетни, козни, пропадут воры и сутяжники – кто же станет воровать или судиться из-за общего? Что ж ты молчишь?

Честные гераклеоты, сидевшие вокруг, с беспокойством посмотрели на Клеарха, ибо на далекий Ахерусийский полуостров не проникла еще благодетельная философия и граждане по простодушию своему полагали, что тяжбы происходят вследствие того, что такова уж природа человека, а не из-за отсутствия общности имущества, ибо по опыту знали, что вещи, находящиеся в совместном владении, вызывают тяжбы и распри чаще всего.

Клеарх улыбнулся с некоторым беспокойством и сказал:

– Что ж, Тимагор! Будь предлагаемое тобой государственное устройство наилучшим, оно было бы где-нибудь осуществлено.

**Тимагор.** Однако и Платон, и Фалес, и Гипподам, и многие, если не все, рассуждающие об общественном устройстве, придерживаются такой точки зрения. И разве мало законодателей действовало в этом направлении? Разве Залевк не запретил перепродажу товара с целью наживы? Разве Филолай не запретил занимать должности тем, кто занимался делами на рынке? Разве не наблюдали по приказу Периандра, чтобы никто не тратил больше заработанного? Разве, наконец, Ликург не уничтожил пагубу частной собственности и с ней вместе раздоры и распри, так что вся Спарта стала как бы единым военным лагерем, и не является ли она до сих пор благодаря этому счастливейшей страной, избавленной от терзающих всю Элладу потрясений?

Тут одни стали соглашаться, другие – возражать братьям, я же считаю, что лучше нам тут не касаться этого предмета, нежели излагать его вскользь: ведь герой нашего повествования не Платон, а его ученик, Клеарх.

А Клеарх чрезвычайно досадовал на неуместный разговор.

Говорить он умел и любил, но твердо знал, что истинный властитель распоряжается не словами, а жизнями. Не с философами и не на пирах собирался он вести речи. Подобно толпе, был он равнодушен к истине; в отличие от толпы, жаждут господства, а не подчинения и предпочитал причинять несправедливости, нежели терпеть их.

– Что ж ты молчишь? – повторил Тимагор.

Клеарх засмеялся и, как будто играя в коттаб, плеснул вино из чаши в чашу, поднял ее и сказал:

– Во здравие Гераклеи!

**Тимагор.** Ты, однако, избегаешь моего вопроса!

**Клеарх.** Скажи, друг мой, одобряешь ли ты тиранию?

**Тимагор.** Думаю, никто не будет отрицать, что среди общественных устройств это – наихудшее.

**Клеарх.** Однако Дионисий в Сицилии стал тираном, обещав народу прощение долгов и раздачу земель и делая то, что нужно для устройства твоего идеального государства.

**Тимагор.** Дионисий заботился не о справедливости, а о том, чтоб граждане стали надежными стражами власти, поступающей несправедливо.

**Клеарх.** Несомненно. Однако согласись, что никто еще, разделив землю, не возродил золотого века, однако многие, разделив землю, обрели власть. И что тираны в своем могуществе опираются на ненависть народа к богатству, которую одобряешь и ты.

Тут Стилокл воскликнул:

– Это нечестно, Клеарх! Брат мой говорит не о нынешних людях, чья природа выродилась и извратилась, но о порядке наилучшем, царившем в золотом веке Тебя спросили: «Если ты должен разделить четыре яблока на восьмерых, сколько достанется каждому?» – а ты отвечаешь: «Я ни с кем не буду делиться яблоками!» Клянусь, это ответ мальчишки или варвара, и недаром, оказывается, ты по своей воле изучил их язык!

**Клеарх.** Не странно ли, однако! Ты хвалишь порядки варваров и упрекаешь меня за то, что я знаю их язык?

Тимагор рассердился за брата и громко сказал:

– Великий Фемистокл по постановлению народного собрания казнил эллина, переводчика Ксеркса, за то, что тот использовал язык свободных людей для передачи слов варвара!

**Клеарх.** Что ж! Боги великодушнее Фемистокла. даже оракул в Дельфах говорил со мной по-персидски!

**Тимагор.** Помилуй, что же персидского в его ответе?

**Клеарх.** Слово «властитель». Это ведь не греческое слово, не «базилевс» и не «тиран».

**Тимагор.** Я встречал его у Гомера.

**Клеарх.** Именно. И как часто у Гомера, это слово чужеземное. У персов «каран» значит повелитель, «кага», а «кага» значит «народ и войско». Каран – это был титул Кира, пока тот от имени царя, а на самом деле самовластно управлял всей Малой Азией, пока не решился на мятеж и не погиб.

Тимагору было очень досадно, что Клеарх намекает, будто Гомер заимствует слова у варваров, и он воскликнул:

– Клянусь Зевсом, этот оракул скверен во всех отношениях!

Многие засмеялись.

У Клеарха в руках была тонкая серебряная чаша, из которой он пил здоровье Гераклеи. Клеарх сжал эту чашу с такой силой, что сплющил ее и расплескал вино по столу. Он вскочил, чтоб отряхнуться, и вдруг сказал:

– Что ж, Тимагор! Я не персидский царевич и не упущу свой случай! Что же, однако, ты попросишь у меня, когда я буду, как Кир, распоряжаться судьбами Азии и Европы?

Тимагор расхохотался:

– Право, властитель, с меня будет достаточно, если ты передашь мне вон тот пирог с угрем, который так хорошо смотрит на меня. Кому-кому, а уж не тебе верить чудесам и пророчествам.

Клеарх был пьян не столько от вина, сколько от недавней победы.

– Хорошо, – вскричал он, – И десяти лет не пройдет, как я исполню твою просьбу, Тимагор! И, клянусь Зевсом, ты сгрызешь себе руки по локоть, что не попросил большего.



По возвращении в город Метон обвинил Клеарха в святотатстве и потребовал его казни или изгнания – ведь тот начал сражение вопреки воле богов.

Сторонники Метона всюду шептались: можно ли ожидать, что тот, кто не уважает богов, доставивших величие городу, будет уважать граждан? Несомненно, боги хотели пресечь помыслы человека, жадного до славы, увидев, что помыслы эти сулят выгоду честолюбцу, но погибель государству.

Ходили слухи, что для Клеарха победа над персами – только первый шаг к победе над гражданами. Настоящая же причина недовольства была в том, что Клеарх решительно воспротивился воле народа относительно Хелы и Кандиры. Народ также постановил продать пленных наемников, деньги распределить между гражданами, а командиров казнить; Клеарх имел дерзость заявить, что наемники уже обещались ему служить. «Уж верно, соучастниками будущих преступлений», – заявил Метон. Несколько смертников, в том числе командир их Бион, бежали из-под стражи, и подозрения народа переросли в уверенность.

За день до суда Клеарх был необыкновенно мрачен и во всеуслышание воскликнул:

– Клянусь, можно подумать, что послезавтра все-таки не первый день месяца пианепсиона, а пятнадцатый месяца варказана!

А вечером он пришел в дом к Архестрату; во дворе по кругу ходил осел с завязанными глазами, сбивая масло; пятилетний сын Архестрата бегал за ослом с венком, Архестрат смеялся и плел для сына второй венок, а рядом Агариста и ее служанка стелили для отбеливания холсты.

Клеарх постоял рядом с Архестратом, потом сказал:

– Знай, что я не боюсь завтрашнего суда. Я мог бы сыграть с тобою на суде скверную шутку, но я не хочу иметь в тебе врага; ты знаешь, что мои воины захватили шатер Митрадата. Я хотел показать на суде в свое оправдание вот это письмо, найденное в шатре, но теперь решил отдать письмо тебе, чтобы ты поступил с ним, как найдешь достойным.

С этими словами он отдал письмо и ушел, не дожидаясь ответа.

Покончив с холстами, Агариста увидела, что брат сидит с письмом и недоплетенным венком. Она подошла и взяла письмо. Это был кожаный свиток, из числа тех, что выделывают в Пергаме, и подобно большинству дорогих писем такого рода ответ на него был написан на обратной стороне.

На лицевой стороне было письмо Митрадата Метону:

«Мне нетрудно видеть, что место для колонии удобно не для мореплавателя и не для земледельца, а для человека, который хочет иметь лагерь для войны во Фригии и Малой Азии, и такой человек не потерпит вокруг ни высших, ни равных себе. Я истратил десять тысяч дариков на эллинских наемников, чтобы уничтожить дурную поросль, и я предлагаю тебе столько же, если ты вырвешь корень. Ведь Архестрат уже распускает по всему городу лживые слухи, будто ты мною подкуплен, и настаивает на изгнании; лучше вождю народа быть изгнанным за настоящую измену, а не за мнимую, дабы вина за несправедливый приговор не пала на народ. И еще ты знаешь, что мой отец во всех подвластных ему городах поощряет сторонников народовластия, а у нас в обычае следовать воле отца. И мой тебе совет: добиться осуждения жите-



лей Хелы и Кандиры. Это так или иначе повредит Клеарху, потому что, если он не согласится с народом, ему не простят упущенной добычи, а если согласится, то ни одно фригийское племя не покорится ему с миром».

А на оборотной стороне письма Метон доказывал, что гераклеоты не менее и даже более многих эллинов заслужили право называться друзьями царя, и обещал во всем поступать согласно воле народа и Митрадата.

Агариста испугалась и сказала:

– Брат мой! Неужели ты прочтешь это письмо на суде? Ведь после такого письма народ не только изгонит Метона, но и про тебя будут говорить всякие гадости, а Клеарх получит полную силу.

– Да, Агариста, я уже сказал, что ничто, преступившее меру, не останется без возмездия. Вольно же мне было распускать слухи про Метона! А письмо это я, конечно, прочту.



Из-за особой важности процесса народных судей было тысяча и один, а суд собрался вне городских стен, у пещеры Эвия и пропасти шириной в два плеффа, куда Геракл спускался за Кербером.

Солнце было высоко; священная дорога была засыпана увядшими гирляндами после недавно миновавших осенних Дионисий; после старого платана на повороте была видна скала над пещерой, усаженная живыми деревьями и любопытными людьми, как бы являющая собой подобие сцены. Большинство людей, обязанных Клеарху, остались в войске в заливе Кальпы, и присяжные состояли из тех, кто не хотел записываться в колонисты и во всем, предпринятом для общего блага, видел козни богачей. Обвинения Метона были приняты благосклонно, а закончил он речь так:

– Справедливо ли, когда кто-то купается в роскоши, а бедняки не имеют необходимого? Взгляните на себя, о судьи, на свои латаные лохмотья и чиненные одежды! Вы получите по два обола за сегодняшнее заседание, чтоб купить себе сушеной рыбы и черствого хлеба, и разделите эту жалкую подачку Архестрата меж своими голодными детьми. А меж тем, если разделить меж народом состояние преступника, на каждого выйдет по двадцать мин! Судьи, у вас не будет хлеба, если вы не вынесете обвинительного приговора!

Речь Метона произвела сильное впечатление, и Клеарх, защищаясь, начал так:

– Человек богатый – как бы управляющий имуществом, которое принадлежит народу. И народ, как хозяин, вправе прогнать управляющего. Но на чей счет будете вы угощаться на празднике Эвия? Кто будет снаряжать корабли и строить храмы? Умный хозяин не рубит плодоносящую маслину, не пускает виноградную лозу на дрова – так еще неразумней губить тех, кто подобен волшебной лозе, из которой сочится готовое вино и масло...

По чьей, однако, воле затеян этот процесс? По воле богов? Только, думается мне, зовут этого бога не Зевсом, а Ахура-Маздой!

Тут Архестрат вышел перед народом, выпростал руку, доселе пристойно прикрытую полой плаща, и стал читать кожаный свиток.

Крик поднялся такой, что заседание отложили на завтра.

Утром стало известно, что Метон бежал из города. Многие считали, что демократы не связались бы с персами, если бы не слухи, распушенные Архестратом.

Архестрат подошел к обвиняемому и тихо заметил:

– Ты, однако, слишком молод для гражданской должности.

Клеарх ответил:

– Ты знаешь, мой дед и дядя не раз избирались жрецами Диониса.

Через час после положенных жертв оправдание Клеарха выглядело простой формальностью, когда вдруг встал некто Протой и сказал:

– Я чужой человек в вашем городе и прибыл пять дне и назад с кораблем из Элеи, с кожами и тканями. И когда я увидел это письмо, я очень удивился. Потому что клеймо, стоящее на этом пергаменте, показывает, что он сделан в мастерской Лисиппа. И я не знаю, чему мне верить: письму, на котором обозначено, что оно написано месяц, назад в Даскилии, или клейму и собственному разуму, который говорит мне, что этот пергамент я продал пять дней назад в Гераклее.

Стали спрашивать купца, кому он продавал кожу. Выяснилось, метеку Лакратиду. Привели Лакратиду, тот признал кусок кожи и сказал, будто продал ее Хрисону, дяде Клеарха! Друзья Метона заявили, будто почерк Метона подделан. Народ недоумевал, но тут выступил вперед человек по имени Агарид, один из сторонников Метона, и заговорил так:

– Удивительное письмо подсунил нам вчера Клеарх и как нельзя более кстати для себя! Метона оно уличает в измене, а Архестрата – в клевете... Удивительное письмо: написал его перс, а пергамент куплен в Гераклее! И до чего этот варвар хорошо пишет по-эллиниски! И какую воинскую проницательность высказывает трусливый перс, не сумевший выстроить свои войска!

Есть, однако, у меня, – продолжал Агарид, – и еще одно письмо, подлинное, от афинянина Тимагора, уехавшего две недели назад. И все мы знаем, как отцу Клеарха перед смертью мерещились чудеса, а Клеарх в это время был в Афинах. Так вот, Тимагор свидетельствует, что Клеарх в это время, переменяв обличье, был в Гераклее и что это он свел отца с ума обманом и колдовством, а теперь морочит весь город!

Клеарх усмехнулся, друзья его обнажили мечи, и ни тысяча и один присяжный, ни толпа, ни общественные рабы, следившие за порядком, не осмелились их задержать.

В тот же день Клеарх бежал на корабле с деньгами, приверженцами и дядей Хрисоном. На третий день пути, когда миновали Халкедон, началась страшная буря. Волны то поднимали корабль до небес, то опускали на самое дно. Кормчий велел править к азиатскому берегу, но Клеарху вовсе не хотелось во владения Ариобарзана, он бранился и бил гребцов:

– Клянусь олимпийскими богами! Я умру не раньше, чем отомщу этому доносчику Тимагору! Я знаю, афиняне привыкли к доносительству, и как только в казне кончаются деньги, так начинаются доносы, но боги не оставят безнаказанным доносчика, который старается не из нужды в деньгах, но из любви к народу!

Хрисон закричал ему:

– Не вопи так громко, святотатец, а то боги услышат, что ты здесь, и потопят корабль!

Клеарх отошел и бросился ничком на палубу от нестерпимой злобы на бога, ибо лишь его почитал виновным в приключившейся с ним беде. Если б не пророчество, не стал бы Клеарх просить жреческой должности; если б не стал просить должности, Архестрат, верно, не стал бы подменять письмо; умный человек Архестрат: глупый бы просто сжег письмо, а Архестрат просто переписал его слово в слово на другой коже!

Часто случается, что море подобно Радаманту и Миносу судит людей по их делам, и всем известна история о купце, который повез по морю продавать бочки с двойным дном. половина – вино, половина – вода, а на обратном пути буря смыла за борт половину денег, так что мошенник получил лишь причитающееся.

Вспомнив все эти истории, матросы решили, что море гневается на святотатца, угрожая мечами, загнали Клеарха в лодку и опустили ему туда мех с водой и ячменных лепешек. Добро и деньги изгнанника матросы решили честно разделить между собой; Хрисон плакал, его связали и кинули под лавку.

Клеарх не стал их ни о чем просить, а запрыгал в лодке и закричал:

– О богах неизвестно, существуют они или нет, но уж если существуют, то завидуют таким, как я, не таким, как вы!

Клеарха носило по волнам три дня, а потом выкинуло на берег.

Кругом него пели птицы, в воздухе вились бабочки и легкие стрекозы, и росла рожь, густая и высокая, такая, что почти с головой скрывала человека.

Клеарх не знал, остров это или настоящая суша, Азия или Европа и люди ли возделывали такую дивную рожь, а только встал и, собрав последние силы, пошел по тропе, добрал до дороги и там и упал.

Он очнулся и увидел, что его теребят какие-то люди. Его напоили куриным отваром, расчесали и умыли, и поставили перед всадником на богатой лошади, в штанах и в шапке, закрывавшей волосы, уши и щеки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.